

# Этторе Ло Гатто

Мои встречи с Россией



*Этторе Ло Гатто*  
*МОИ ВСТРЕЧИ С РОССИЕЙ*

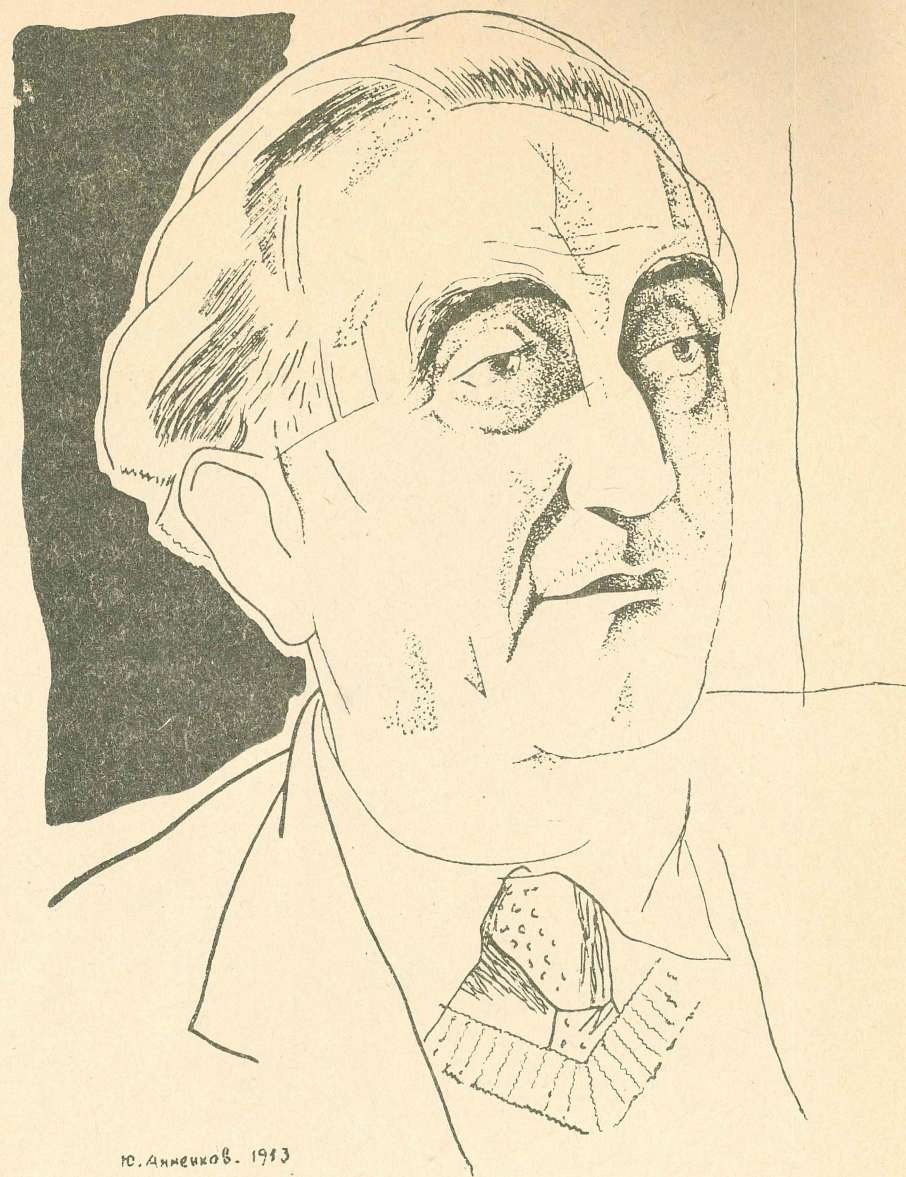


2007A

2

*Этторе Ло Гатто*

МОИ ВСТРЕЧИ С РОССИЕЙ

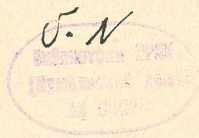


Ю. Анненков. 1993

МОСКВА  
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КРУГЪ»  
МСМХСII

Под редакцией  
Анны Ло Гатто Мавер  
перевод  
Каролины Гладыш и Ирины Дергачевой

На обложке —  
живопись О. Розановой,  
на форзацах воспроизведены  
фотографии кабинета Этторе Ло Гатто,  
на фронтиспise — портрет автора  
работы Ю. Анненкова,  
на стр. 6 — дарственная надпись  
А. М. Ремизова.



## От составителя

Впервые переводится на русский язык и издается в России книга моего отца, Этторе Ло Гатто (1890—1983), посвятившего свою жизнь изучению русской литературы и популяризации ее в Италии.

В этой последней книге, написанной в возрасте 86 лет, отец воскрешает всю свою деятельность, но главное внимание уделяет «встречам», дружбе с русскими писателями, поэтами, режиссерами и художниками, в том числе и с эмигрантами.

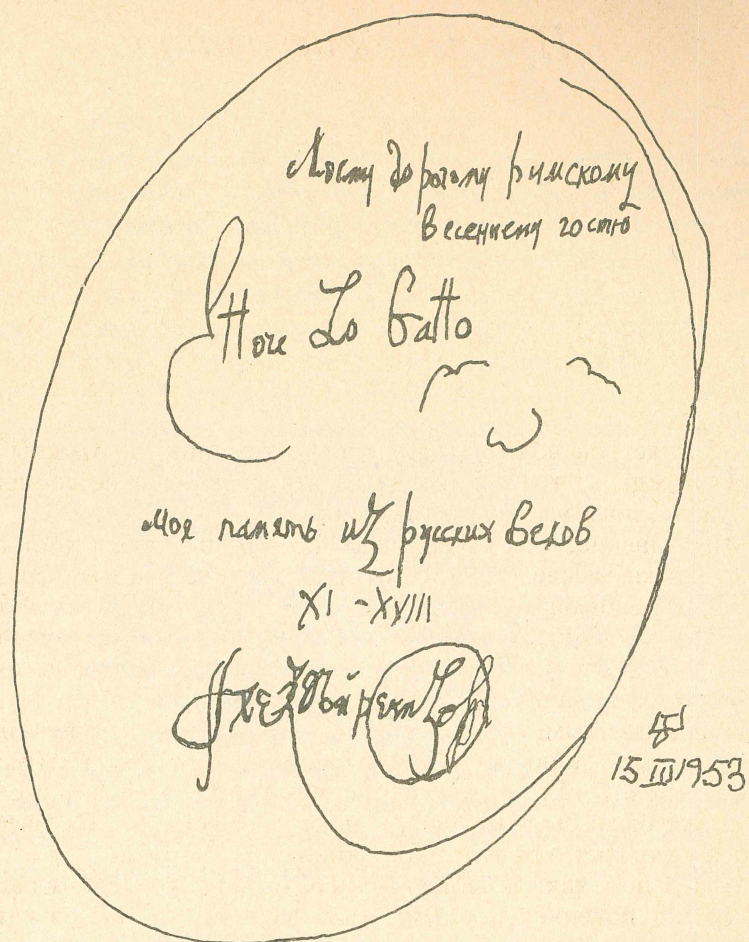
Книга, написанная по настоянию друзей и бывших учеников, представляет собою непринужденное, спонтанное повествование о жизни и работе не только переводчика, критика и ученого, но и редкого энтузиаста, упорного, возможно, упрямого, который всегда был другом России и русских, где бы он их ни встречал — в Ленинграде, Москве или Париже. Все, кого «встречает» Ло Гатто, — известные личности: одни стали знамениты еще до того, как он с ними познакомился, другие — впоследствии. Это история очень близкого прошлого. Имена многих героев книги открылись советскому читателю лишь недавно, так как речь в ней идет как о деятелях литературы и искусства, оставшихся в СССР, так и эмигрировавших. Рядом с Пастернаком и Ахматовой, например, находим Бунина, Зайцева, Ремизова, Осоргина и других, а рядом с Грабарем и Кончаловским — Юрия Анненкова. И это главная особенность Ло Гатто-ученого: он всегда считал русскую литературу неделимой, связанной единством языка и единством любви к России, только любовь эта выражалась в разных формах, была пережита по-разному.

В Италии эта книга имела большой успех не только среди специалистов, но и среди образованной публики. Меньше интереса она вызывала у широкого читателя, поскольку многие имена были ему совсем или почти совсем неизвестны. Итальянцам даже среднего культурного уровня известен Пастернак благодаря присуждению ему Нобелевской премии, но менее известен Бунин, хотя он тоже получил эту премию. Известности Пастернака способствовали, кроме Нобелевской премии, полемика, вызванная в свое время романом «Доктор Живаго», и снятый по нему фильм. Когда Ахматова приехала в Италию получать премию Таормина, ее имя появилось в прессе и было на устах у широкой публики, но только любители поэзии читали ее произведения.

Надеюсь, что в России отношение к книге будет иным, здесь читатель будет приятно удивлен и обрадован, найдя в книге иностранного автора личные и литературные воспоминания, полные истинной любви к России и к ее живой, неделимой литературе.

Я очень рада возможности представить русскому читателю книгу моего отца и благодарю всех, кто способствовал ее переводу и публикации.

Анна Ло Гатто Мавер



сохранил память о встрече  
в Париже - Весна! и в моем  
затворе на Бучало в окно заглядывает  
солнце - миф и доброе чувство, а к  
ночи с сумерками войдет волшебная сказка

## Предисловие автора

Прежде чем доверить эту книгу вниманию возможных читателей, хочу предупредить, что я никогда не вел дневник и не собирался писать о моей жизни, пока на этом не настояли.

Несомненно, моя жизнь была достаточно богата событиями, разумеется, в рамках исследований, которым она была посвящена, и не менее богата впечатлениями, вызванными — тоже в ракурсе русской и славянских литератур — местами, которые я посетил, и людьми, встреченными мною. Я никогда, однако, не претендовал на то, что эти события и личные впечатления могут заинтересовать других, и поэтому долго оставался скептически-равнодушным ко всякого рода настояниям. Более того, написал кроме книг много монографий и статей по истории литературы и эстетике, я почти всегда избегал воспоминаний личного характера, даже в тех случаях, когда они были бы уместны для подтверждения или опровержения того или иного суждения, той или иной «книжной» догадки.

С тех пор, как волею судьбы среди других выдающихся личностей в моей жизни появился поэт Вячеслав Иванов, во мне звучат как будто проскандированные в исключительно чистом тембре слова, которые он однажды написал по поводу воспоминаний и памяти, а именно, что воспоминания — не что иное, как «шлак руды, перегоревшей в днях», меж тем как «Память, Муз родившая, свята, бессмертия залог, венец сознанья, нетленного в ислевшем красота!»

Итак, претендовать ли мне на гордо звучащую «Память» или покорно примириться со «шлаком руды, перегоревшей в днях»?

Между гордостью и смирением нашлось место скептицизму, который не совсем исчез во мне и после того, как я внял призыву друзей, коллег и давних учеников. Итак — свершилось: соблазн переборол сомнение, и книга, наконец-то написанная, предстала перед судом отважившихся ее прочесть.

Должен сказать, что название книги — «Мои встречи с Россией», было мне подсказано; а вот придуманное мною претенциозное название первой части: «Встреча с самим собою, „русистом“» — заслуживает разъяснения. Это не автобиография в обычном смысле слова, как следовало бы из названия. Я действительно говорю о себе, но только для того, чтобы рассказать, как случилось, что в течение, по крайней мере, части своей жизни я оказался главным действующим лицом в ситуации, которую позже назвали рождением итальянской «русистики». Согласившись восстановить эту часть своей жизни, какой она предстает мне сегодня в смиренном

течении воспоминаний, не могу не признать, что воспоминания эти для меня не просто «шлак руды, перегоревшей в днях», а нечто большее — надежда на то, что во чреве «Памяти, Муз родившей», — не совсем померкли радости, воспоминание о которых всегда оплакивание. Судьба была благосклонна ко мне, послав встречи с людьми возвышенной души и дав мне возможность вынести из этих встреч подтверждение всегда поддерживавшей меня веры в вечные ценности человеческого бытия. Посему эта книга — знак признательности тем, кто помог мне сохранить эту веру.

Я старался рассказать о делах и событиях своей жизни, то есть о моих радостях и печалях как можно проще и искреннее — так, как человек говорит о себе с самим собой. Не уверен, что это всегда мне удавалось, поскольку я был в нерешительности — следовать ли завету смирения или же импульсу энтузиазма, с которым более полувека назад я начал свою деятельность ученого и который не раз живо ощущал в себе и позже, в том числе и при написании этих страниц. Если читатель сочтет, что страницы эти были написаны не зря, он поймет меня и простит.

Легко заметить, что посвящая некоторым запомнившимся мне встречам целые главы, я о других лишь упоминаю, в частности, и во введении «Встречи с самим собою, „русистом“». Объясняется это вот чем: во введении речь идет о тех встречах, которые, хотя и глубоко врезались мне в память, были, однако, мимолетными, случайными, и не имели такого значения, как те, которым посвящены специальные главы.

Возможно, читатель заметит также пробелы и повторы во введении, где я излагаю основные события своей жизни русиста и слависта. Повторы — их, кстати, немного — возникли из-за необходимости связать разрозненные воспоминания, не имеющие хронологической последовательности. Пробелы же я попытался восполнить в заключении книги, где, восстанавливая процесс развития русистики в Италии, я уделил особое внимание преподаванию русской литературы прошлых веков, которой в основном посвящены курсы моих университетских лекций.

Этторе Ло Гатто

## Встреча с самим собою, «русистом»

Вместо введения

Теодор В. Адорно сказал однажды (не помню уже где и по какому поводу), что «произвольная память и забвение — одно и то же». Не знаю, что именно понимал он под словом «произвольная», но задаю себе вопрос: а как назвать память, в которой накопившиеся воспоминания из-за давности утратили связь со временем, но сохранили подлинность. Это ведь не «произвольная» память и не забвение.

Не является ли воспоминание встречей человека с самим собой, как бы переживанием заново различных моментов собственного существования, своеобразным «подведением итогов» для оправдания этого существования? Именно с такой мыслью я вызываю в памяти прошлое, стараясь таким образом победить неизбежное забвение, но память не произвольна, если настоящее искренне и правдиво отражает прошлое. Не следует забывать при этом — как заметил однажды философ Федор Степун относительно собственных воспоминаний — что воспоминания живут по своим законам, вживаясь в память, хотя и не всегда в хронологическом порядке.

Прошло уже больше пятидесяти лет с тех пор, как, вернувшись из австрийского плена, я начал заниматься русской литературой, оставив навсегда изучение литературы немецкой, и пятьдесят лет с тех пор, как (в 1921 и 1923 годах) состоялись мои первые личные встречи с представителями литературы, которой я увлекся прежде, чем изучил ее язык.

Первым свидетельством того начального периода занятий и личных встреч является подборка журнала «Russia», который я издавал с 1921 по 1926 годы, и первые мои переводы из Чехова, Салтыкова-Щедрина, Мамина-Сибиряка и Соловьева.

Есть, однако, свидетельство еще более ранней моей любви, о котором я не заговорил бы здесь, если бы мой биограф Рикардо Пиккио не упомянул об этом в связи с моим семидесятилетием. Я имею в виду опубликованный мною в тринадцатилетнем возрасте роман в нескольких частях, «I misteri della Siberia» [«Тайны Сибири»]. Пиккио, которому я, шутя, дал его почитать, написал тогда так: «Не только заглавие знаменательно, речь идет почти что о предвидении призвания. Эта работа тринадцатилетнего школьника — первое свидетельство длинного путешествия, совершенного фантазией автора по бескрайней русской земле. Уже тогда его фантазия была живой, но хорошо направляемой, контролируемой сознанием эрудита. Этот чудо-мальчик, который ведет себя отнюдь не

## Алексей Ремизов

Ни о ком из встреченных мною русских писателей, в Советском Союзе и в эмиграции, в Праге и в Париже, не накопилось у меня такого количества воспоминаний за долгие годы нашей дружбы, как об Алексее Михайловиче Ремизове. Никогда не забуду, как после смерти Ремизова ко мне обратился мой парижский коллега профессор Андре Мазон и напомнил, что в Париже у меня были и другие друзья помимо Ремизова...

Воспоминание о первом знакомстве, о первой встрече всегда немного смутно. Такое ощущение возникло у меня, когда я стал посещать дом Ремизова, по окончании второй мировой войны. Ведь прошло столько лет с того момента, когда, как я считаю, произошла наша первая встреча. Если память мне не изменяет, было это в январе 1930 года после моей лекции в Сорбонне на тему «Италия в русской литературе». Впрочем, может быть, это воспоминание произвольное? Когда я стал посещать дом Ремизова на Rue Voileau 7, он был уже вдовцом (Серафима Павловна Довгелло умерла в 1943 году). Я хорошо помню мой первый визит туда, быть может потому, что и Ремизов и окружающая его обстановка произвели на меня сильное впечатление. После войны Ремизов, к сожалению, был очень слаб здоровьем, но глаза его еще видели и больше всего он любил говорить о том, что пишет и читает. Он знал, что роман его (то есть произведение, которое, вероятно, более чем любое другое может быть названо романом) «Sorelle in Cristo» [«Крестовые сестры»] несколькими годами раньше был переведен Ренато Поджиоли и потому стал известен в Италии и тем, кто не знал русского. При первых встречах я сказал ему или дал понять, что даже для тех, кто знает русский, чтение его произведений затруднительно, и он с этим согласился. В течение нескольких лет я не ездил в Париж, и когда вернулся туда, мой первый визит был к Ремизову, так было вплоть до 1957 года, когда он умер.

В моей памяти Rue Voileau 7 занимает значительное место, как и дом Бориса Зайцева, который я также постоянно посещал до тех пор, пока не умерла Вера Алексеевна и он не перешел жить в семью Натальи Борисовны Сологуб.

Rue Voileau 7 незабываема для тех, кто там побывал, в значительной степени потому, что там на втором этаже жил Ремизов, но и потому еще, что там находилось «гнездо» русских эмигрантов: во времена моих визитов в доме — на нижнем этаже — жил режиссёр и драматург Николай Евреинов, еще до революции имевший мировую известность, а на третьем этаже — ориенталист Василий Петрович Никитин. Если не ошибаюсь, художник Юрий Анненков также жил здесь какое-то время до переезда

в великолепное atelier на Rue Campagne Première 31 bis, где, в течение многих лет приезжая в Париж, я бывал в гостях на его чаепитиях. Там мы спорили однажды по поводу иллюстраций, которые он выполнил для издания моих переводов двух поэм Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» и «Мороз, Красный Нос». Помню стеснение в груди, когда, рассказывая ему о моем переводе Некрасова, я испытал ощущение, возможно и ошибочное, что перевод «Кому на Руси» ему не понравился.

Но возвращаюсь мысленно на Rue Voileau, чтобы запечатлеть на бумаге образ не только писателя, которым я с давних пор восхищался, но и человека в обстановке, которую он создал вокруг себя, возможно, в память о прошлом, а возможно потому, что это прошлое всегда было частью его настоящего.

Трудно сегодня сказать, восходит ли впечатление о физическом облике Ремизова к гипотетической встрече 1930 года или же первое представление о его внешности я получил от портрета пером, выполненного Анненковым в 1920 году еще в России и увиденного мною у Анненкова. Имеющаяся в моем кабинете фотография Ремизова относится к периоду Rue Voileau 7. А о портрете сам художник рассказал впоследствии историю, объясняющую, отчего на лбу писателя изображена муха. Когда Ремизов позировал, на лбу его в самом деле ползала муха, которую он терпел, пытаясь согнать ее лишь движением бровей, а не рукой, как поступил бы всякий другой. Это наблюдение было сделано Замятиным, написавшем о портрете Ремизова: «Голова из плечей — осторожно, как из какой-то норы. Весь закутан, обмотан, кофта Серафимы Павловны — с заплаткой на воротнике. В комнате холодно — или, может быть, тепло только около печки. И у печки отогрелась зимняя муха, села на лоб. А у человека — нет даже силы взмахнуть рукой, чтобы прогнать муху». «Когда наш сеанс был кончен, — писал затем Анненков, — Серафима Павловна, взглянув на рисунок, сказала: — Муху-то и заплатку, собственно, можно было бы и убрать. — Ни под каким видом! — воскликнул Ремизов, — «в наши дни всякое присутствие живого существа, даже — блохи, и, конечно, любая человеческая заботливость, до заплатки включительно — особенно приятны и ценны!».

Когда меня представили Ремизову (вероятно, Анненков), я стал говорить о своих впечатлениях (он не был знаком с моим журналом «Russia», поскольку, и в этом моя вина, я не послал ему его, но кто знает, где он был в начале двадцатых годов?). Разговор зашел о конференциях, которые в 1923 году группа изгнанников, приглашенная мною, провела в Риме. Среди них был и профессор Александр Чупров. Когда я упомянул его имя, Ремизов сказал, что был его учеником. Я очень удивился, для меня Ремизов-писатель был продолжателем великого Лескова, а тут оказывается, что автор «Крестовых сестер» студентом изучал не только физику и математику, это мне уже было известно, но и юриспруденцию. Эти занятия, объяснил Ремизов, дополняли чтение, сделавшее из него несравненного знатока древнерусской и современной литературы, помимо литературы мировой. На литературную стезю его подвинула мать, от нее, насколько он помнил, он впервые услышал имя Гёте. Судьба распорядилась жестоко, чрезмерное чтение разрушило ему зрение, и он был вынужден перестать читать, только слушал, что ему читали. Однако та же судьба частично исправилась — вплоть до самой смерти он не испытывал недостатка в людях, заменявших ему глаза при чтении. Без возможности читать, говорил он, жизнь не имеет для него ни малейшего смысла, поскольку ему необходимо знать, что думают другие о проблемах,

на которых останавливается его мысль. Любимой чтницей Ремизова была Наталья Кодрянская, ставшая его биографом, она же автор книги «Сказки», высоко ценимой Ремизовым и, надо полагать, в какой-то степени рожденной из глубокого знания Кодрянской произведений Ремизова, для которого как бы не существовало границы между реальностью и фантастикой.

Тому, кто не знал Ремизова близко, трудно оценить его высокие требования к художественному произведению, а также иронию, с которой он относился к проникновению двух элементов — реальности и фантазии — в его жизнь, с первого взгляда представлявшуюся, посмею сказать, «сюрреалистической»; кстати, так некий критик, и не без основания, назвал одно из его произведений. Квартира, в которой Ремизов проживал на Rue Voileau, с окном, выглядывавшим во внутренний двор больницы, сама по себе была невеселой, более того — не только бедной, но и унылой. Не знаю, какую она была при жизни Серафимы Павловны, но не могу себе представить Ремизова вне этого, созданного им самим интерьера.

Мне случалось читать и слышать от русских о «странностях» и «причудах» Ремизова; в Петербурге в 1908 году он создал «Обезьянью Палату», а комната, где он работал и принимал гостей, называлась «Кукушкина» только потому, что там были часы с кукушкой. «Обезьянья Великая и Вольная Палата» родилась из потребности в шутке, поистине присущей духу Ремизова, а также из его страсти «палеографа», подвигшей его на составление устава не только в духе, но и в графике семнадцатого века. «Обезьянья Палата» была домом писателя, и убрана она была так же, как студия на Rue Voileau. К сожалению, оригинальность обстановки на Rue Voileau не заслоняла, а скорее подчеркивала ее бедность, вызывала грусть; одна стена покрыта так называемыми конструкциями, абстрактными рисунками, насыщенными цветом, на другой — полки, полные книг, а между двух стен — то, что Ремизов называл своими «талисманами»: подвешенные на нитях раковины, морские коньки, морские звезды, быть может, напавшие писателю «талисманы» Петербурга.

После знакомства с произведениями Ремизова я перестал видеть в доме на Rue Voileau некие странности и причуды: обстановка там была просто «ремизовская». Ремизов имел обыкновение просить у посетителей не только записать в специальном блокноте собственные особые приметы, но и нарисовать отличительные черты своего облика. С первого взгляда это могло показаться экстравагантным, но на самом деле способствовало непосредственному, более глубокому контакту с людьми, хотя в последние годы по причине прогрессирующей слабости зрения Ремизов был уже в состоянии различать линии этих особых примет внешности, впрочем, часто пишущий просто старался избежать каракулей.

Ирония или, вернее, самоирония, была в Ремизове врожденной, получалось как-то так, что знакомый с его творчеством человек, нанося ему визит, ощущал самоиронию в такой степени, что не позволял себе даже простосердечной улыбки удивления, открывая истинный мир автора. Нечто подобное испытал я, когда нанес Ремизову свой первый визит.

В этот мой первый или в один из первых визитов, я встретил у Ремизова его будущего биографа, если книгу, посвященную личности писателя, можно назвать просто биографией. Через Кодрянскую я позже получил возможность ближе познакомиться с Ремизовым. Лишь прочтя в ее книге, например, предупреждение о том, что она не будет говорить о «кикиморном начале» (то есть о заклинании кикимор), которое Ремизов использовал не только в своих художественных произведениях, но часто и в разговорах, я, как мне кажется, понял истинный смысл иронической

улыбки Ремизова. Я говорил об этом с Кодрянской. Привожу здесь ее замечание: если о «кикиморном начале» писал сам Ремизов, это было нечто серьезное, меж тем как если бы о нем рассказал другой, то же самое выглядело бы комичным. Это наблюдение вполне сочетается с моим утверждением о том, что детали обстановки, в которой жил Ремизов, не были ни экстравагантными, ни эксцентричными, но просто «ремизовскими». Привожу здесь ответ Ремизова Кодрянской, поскольку, мне кажется, в нем содержится оригинальная аутентичная интерпретация его личности: «Но ведь они добрые — кикиморы, в них нет никакого злого начала, от них идет моя путаница и неразбериха, от них же мои шутки и безобразия».

Подобным же образом Ремизов ответил мне, когда я начал говорить с ним о тех немногих прочитанных мною его книгах; немногих, потому что их трудно было приобрести. Кое-что я находил у букинистов, в 1931 году еще существовавших в Москве у Китайгородской стены; спустя более четверти века вернувшись в Москву, я более не обнаружил ни букинистов, ни стены. Не исключено, однако, что я купил книги Ремизова в той «книжной лавке» на Кузнецком мосту, которой я обязан наиболее ценной частью моей библиотеки. Помню точно, что в Китай-городе я нашел издание ремизовского переложения народной трагедии «Царь Максимилиан», перевод которой позже включил в мою антологию «Teatro russo» [«Русский театр»], изданную Бомпиани, сожалея, что не смог воспроизвести и иллюстрации, выполненные Юрием Анненковым для русского издания. Там же я нашел журнальный вариант «Трагедии об Иуде, принце Искаротском», перевод которой всегда находится в ящике моего стола. Из остальных более чем пятидесяти книг, опубликованных Ремизовым, я не помню, что именно я прочел, когда познакомился с их автором. Особенно интенсивно я читал Ремизова в тридцатые годы, когда писал о нем в «Storia della letteratura russa», над которой тогда работал, но с ним говорил о последних его книгах, в частности, о «Взвихренной Руси», из которой узнал кое-что новое о его отношении к родине, столь часто называемой им древним словом Русь.

Подробности его жизни стали мне известны гораздо позже из «самой оригинальной автобиографии русской литературы» с названием непереводаемым, но очень эффектным: «Подстриженными глазами». Когда в 1951 году Ремизов опубликовал свои «мемуары», он был уже почти слеп, но ясность его ума поистине контрастировала с тем, что он называл своей путаницей и неразберихой и идущими от них безобразиями. В самом деле, ясность ума способствовала тому, что его иронические самоутверждения и такие два элемента, как легенда и сновидение, обрели художественную основу, сформировали фон его творчества, созданного не только стилистическими, но и литературно-психологическими поисками, которые, осмелюсь утверждать, по большей части непонятны «непосвященным» читателям.

Должен признаться, что часто не только чтение книг, но даже беседы с Ремизовым требовали от меня двойного интеллектуального и духовного усилия (трудности лингвистического характера оставляю в стороне). И если большая часть творческого наследия Ремизова прояснилась для меня, то этим я обязан книге Кодрянской, где воспроизведены идеи и мысли писателя, выраженные им в беседах и письмах.

Личное знакомство с Ремизовым убедило меня в том, что уже ранее я интуитивно понял: в первый период своего творчества, предшествовавший революции, он не был чужд хотя бы общим положениям реализма, реалистические элементы явно присутствовали в романах, написанных между 1909 и 1912 годами, в «Повести об Иване Семеновиче Стратилатове», «Крестовых сестрах», «Пятой язве». В них, правда,



наличествовали элементы, граничащие с фантастикой или легендой, согласно излюбленному Ремизовым термину, но решающими в преодолении реализма при описании реальной жизни были, по-моему, страницы «Слова о погибели земли Русской», по-новому зазвучавшего анонимного плача XIII века, имевшего то же название. Написанное после революции, это произведение носило явно идеологический характер и лишь позднее стало фактом литературы. Полнота духовных интересов Ремизова сказывалась в его художественных и стилистических поисках; отложив романы, писатель дал волю своему лирическому таланту в повестях, более близких к легенде, как бы придав легенде ценность реальности. Так родилась серия «Сказки обезьяньего царя Асыки», явно связанная с фантастическим учреждением «Обезьяньей Палаты».

До какой степени Ремизов был убежден в «легендарности» реальности, больше того — в реальности легенд, я не смог выяснить в разговоре с ним; однако заметил, что в его повествованиях все более затаенное и вместе с тем решающее значение приобретали сны, уже ставшие необходимыми для характеристики персонажей романов, как например, в «Крепостных сестрах». А потом возникла потребность через сны характеризовать не только персонажи, но и их создателей. Сны Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого фактически сформировали содержание книги, которая вышла как раз во время моих частых визитов к писателю.

Эта потребность в сновидениях получила позже косвенное объяснение в уже упоминавшейся книге воспоминаний «Подстриженными глазами», где писатель ссылается на близорукость, которой он страдал с детства и которая, якобы, обусловила его восприятие чувственного мира, отличное от реальности. Очарованный в год раннего детства линией и цветом, он, несмотря на близорукость, никогда не отступал, переводя, — и при этом продолжая чертить и рисовать — в искусство письма линии и оттенки живописи. В этом ему помогало знание агиографической литературы, являвшейся и письменностью, и фантастической живописью одновременно, а также народной литературы, как в устных ее вариантах, так и в иллюстрациях, как, например, в лубках, где персонажи и псевдореалистические сцены были в свою очередь иллюстрированы пояснениями, в которых реализм смешивался с фантастикой. Поиск редких слов стал одним из элементов формирования Ремизова-писателя, позже он трансформировал это в богатые неологизмами «выдумки». Здесь напрашивается имя Хлебникова, и я, кажется, вспомнил его, беседуя с Ремизовым, но Ремизов возразил, сказав, что его произведения, в отличие от хлебниковских, всегда конкретны.

Историк литературы, я не мог не пытаться узнать его точку зрения на повествовательное искусство в целом, имея в виду и тот факт, что другой великий русский прозаик, тоже изгнанник, Иван Бунин, всегда противостоял Ремизову не только в своем подходе к языку, но и в концепции структуры романа, и реалистического и нереалистического. Из своих разговоров с Ремизовым я понял, что он предпочитает описывать случаи, пусть и не являющиеся с первого взгляда, которые, однако, могли бы быть интерпретированы, так сказать, в символически универсальном смысле. Возможно, именно эта концепция художественной прозы побудила Ремизова привнести в нее элемент в самом деле универсальный, как, например, культ Смерти — косвенное эхо этого же культа, но основанного на зове предков, у декадентов-символистов. То, что вначале было как бы приемом, стало содержанием произведения, уже не романа, но, так сказать, «романом романа», то есть интерпретацией, когда роман не только Гоголя и Достоевского, но также Тургенева и Толстого рассматривался как субстанция автора. В зрелом творчестве Ремизова такого рода интерпретации и отчасти анализы

этого жанра нередки, и в известном смысле можно говорить о своеобразной критике.

Разговоры с Ремизовым, суждения, им высказанные, помогли мне лучше понять его творчество. И ему же я обязан тем, что не могу полностью принять это творчество. Повествовательное направление литературной деятельности Ремизова принесло поистине исключительный результат, например, роман «В поле блакитном», работа над которым началась более чем за десять лет до его публикации, в 1922 году. Он был расценен как одно из прекрасных и оригинальных произведений Ремизова, продолжающих русскую повествовательную традицию XIX века, но в последующих его романах не сохранилось подобной свежести воображения, а возможно, и подобной языковой чистоты. Это последнее замечание было мне подсказано самим Ремизовым.

Что касается содержания значительной части произведений, написанных после революции, то здесь необходимо вернуться к значению сновидений в ремизовском творчестве. Это было темой наших с Ремизовым бесед, и я пришел к выводу, что он в какой-то степени из собственных снов (являвшихся объектом частых самокопаний) соткал ту, подобную сновидению атмосферу, которой пронизаны сборники его притч и легенд, где сон и фантазия сохраняют связь с реальностью, преобразованием которой они являются.

Я не хотел бы, чтобы предмет наших с Ремизовым разговоров, когда я часто чувствовал себя смущенным его ласковой ироничной улыбкой, оживлявшей взгляд, почти угасший за очками, преобразил мои человеческие встречи с ним в этикие критико-литературные изыскания. Но я мало говорил с Ремизовым о жизни и много о литературе и в результате определил два элемента, характеризующие его художественную индивидуальность. Первое — он признавал, что проза его могла быть лиричной, как «Посолонь», «Шумы города», «По карнизам», а могла быть «книжной», хотя точную границу провести здесь трудно. Второе — он соглашался с тем, что его позиция в рамках истории литературы конца XIX — середины XX века была «эксцентричной» (в этимологическом значении слова). О том, что эксцентричность эта зачастую автобиографична, свидетельствует утверждение Ремизова: говорить буду о том, что не в состоянии забыть. Хотел бы подчеркнуть, что необходимость не забывать была для Ремизова столь глубокой, что зачастую то, что он выносил из книг, становилось в нем второй натурой и побуждало включать в собственную автобиографию другие жизни, принадлежавшие другим временам, а то и вневременные. Литературным чудом этого процесса являлась простота, с какой в образах преобразенных фантазией действительности, проявлялись мысли писателя, для которого не существовало ни «бедных духом людей», чей дух не был бы способен принять эти мысли, ни «великого духа», не заполненного мыслями о «бедных людях». В этом двойном процессе, созидательном и духовном, персонажам повестей, романов, реальным отголоскам памяти приводились параллели из апокрифов о великих писателях, — чье обаяние Ремизов ощущал как истинное и прямое родство — писателей столь разных между собой, но слитых как бы в одну семью: Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Чехова, благодаря которым он проникся через призму собственной жизни, состоявшей из сновидений, важным ощущением многообразия жизней, извлекаемых из действительности созидательной силой искусства.

Я не мог бы сказать, что мои беседы с Ремизовым на Rue Voileau 7 всегда были столь насыщенными и, как он заметил иронически, столь критически глубокими. Я никогда не был единственным его собеседником;

после полудня, к чаю всегда приходил еще какой-нибудь посетитель, разговоры были общие, всегда оживленные, темы скрещивались. Припомню некоторые из них.

Говорили о помощи, какую оказывал Алексею Михайловичу ориенталист Василий Никитин, проживавший на третьем этаже Rue Voileau. Он перевел арабские и персидские сказки, включенные Ремизовым в его последнюю книгу «Павлинье перо».

С Никитиным я завязал сердечную дружбу, и мы долгое время переписывались. Часто повторялось в наших разговорах имя Николая Евреинова, который, не знаю по какой причине, был не в ладах с Ремизовым, но меня интересовало, почему в еврейновских «фантазиях» я находил явное сходство с некоторыми ремизовскими фантазиями. Название одной из комедий Евреинова «В кулисах души», по мнению Ремизова, было рассчитано на то, чтобы возмутить его. Однако же то была скорей «дисгармония», а не вражда, коль скоро Алексей Михайлович, чувствуя, что я пойду к Евреинову на нижний этаж, неоднократно поручал мне передать ему свои приветствия, Евреинов отвечал тем же. Помню, как дорого мне было изумление, которое я вызвал у Алексея Михайловича, сказав ему, что прочел и полюбил автобиографию Аввакума. У Кодрянской я нашел, что Аввакум прошел через всю жизнь Ремизова. Мне Аввакума открыла в Италии статья ориенталиста Франческо Габриели, которому я выказал благодарность за то, что он познакомил меня со знаменитым «протопопом», сожженным на костре как наш Джироламо Савонарола. Я называю Савонаролу, поскольку он был темой нашей беседы с Ремизовым, во время которой он поразил меня своим знанием итальянских сюжетов прошлого, гораздо большим, нежели мое знание далекого русского прошлого. Правда, Аввакум умер на костре в 1682 году, меж тем как Савонарола был сожжен на Piazza della Signoria почти за два века до этого, в 1498 году, но для знатока русской религиозности, коим являлся Ремизов, имя Савонаролы было знакомо так же, как и имя реформатора Максима Грека, который, прежде чем прибыть в Россию, слушал проповеди Савонаролы во Флоренции, затем в течение некоторого времени считался его последователем.

Более чем с другими русскими писателями, встреченными мною в Париже, я беседовал о России и ее литературе с Алексеем Михайловичем, из уст которого ранее, нежели со страниц его книг, я услышал имена Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Достоевского, — «персонажей» книги «Огонь вещей», «Сны и предсонье», последней книги, полученной мною в дар от Ремизова почти накануне его смерти, 17 сентября 1957 года (Ремизов умер 26 ноября 1957 года).

Между первым посвящением 1930 года и последним прошло почти четверть века, в течение этого времени я получил в дар от Ремизова еще двенадцать книг с посвящением. Перечитывая эти посвящения (не всегда с легкостью, поскольку многие были написаны почти слепым человеком, и строчки набегали одна на другую), я с трудом справляюсь с волнением, которое воспоминания вызывают в моей душе. Большая часть посвящений восходит к 1953 году, я тогда часто бывал в Париже, а Ремизов в то время был очень активен. Я процитирую здесь лишь одно из посвящений, особенно для меня дорогое, на книге «Пляшущий демон»: «Моему дорогому римскому весеннему гостю Ettore Lo Gatto — моя память из русских веков XI—XVIII Алексей Ремизов 15 III 1953». За посвящением следует несколько строк: «Сохраню память о встрече в Париже — весна! и в моем затворе на Буало в окно заглядывает солнце — мир и доброе чувство, а к ночи с сумерками войдет волшебная сказка».

Среди тем, бывших предметом моего разговора с Ремизовым, особенно после публикации четвертого издания моей «Storia della letteratura russa», в надежде на пятое (к сожалению, французский перевод вышел уже после смерти Ремизова) была тема о возможных (вернее, гипотетических) заимствованиях его произведений, и о вероятном его влиянии на новую русскую литературу как советскую, так и эмиграции. Незадолго до этого я прочел книгу воспоминаний Константина Федина «Свидание с Ленинградом», в которой явно слышны были отзвуки произведений Ремизова, писателя-символиста Федора Сологуба, автора знаменитого романа «Мелкий бес», и я отважился спросить Алексея Михайловича, ощущал ли он себя звеном в цепи, связывающей литературные поколения конца XIX века и начала нового столетия, и он мне ответил, что его учителя жили много раньше, нежели в конце века XIX, когда творили Гоголь, Достоевский и Лесков, но он считает себя скорее учеником анонимных авторов веков более отдаленных и, желая назвать кого-то, повторил имя Аввакума; что касается его признания и его последователей (не имитаторов), то он знал, что его признавала даже советская критика, ставя его имя рядом с именами Достоевского и Андреева; что очевидным было влияние его ранних работ на Бориса Пильняка, Николая Никитина и Евгения Замятина. Я сам слышал, с каким восхищением говорил о Ремизове Замятин. С необычайным уважением всегда говорили о нем со мной писатели нового поколения эмиграции, даже если ни один из них не может назвать себя его последователем.